

Ведьма
из Гнилого лога

Ira Kiba

Ведьма из Гнилого лога.

<https://litres.ru/74195808>

SelfPub; 2026

Аннотация

Есть деревни, которые исчезают с карт, но продолжают жить в людской памяти. И есть такие, о которых стараются не вспоминать вовсе.

Гнилой Лог - затерянная среди лесов деревня, где туман не рассеивается даже в полдень, река течёт слишком тихо, а старики шёпотом говорят о давнем проклятии, пережившем не одно поколение. Здесь каждый знает: некоторые дома лучше обходить стороной, а некоторые вопросы никогда не задавать.

Когда над трубой давно заброшенной избы Свиридовых вновь поднимается дым, жители понимают: покой закончился. В пустом доме поселяется загадочная женщина по имени Аграфена, явившаяся будто ниоткуда. Она приветлива, мудра, знает силу трав и человеческой души, но за её спокойным взглядом скрывается нечто, чего не объяснить обычными словами.

Мрачный атмосферный роман в лучших традициях славянского фольклорного хоррора, где древние поверья, человеческие грехи и безымянный ужас переплетаются в историю.

Ira Kiba

Ведьма из Гнилого лога.

ВЕДЬМА ИЗ ГНИЛОГО ЛОГА

ГЛАВА 1

Есть на свете места, которые будто нарочно спрятаны от людских глаз — не горами, не морем, а самым временем, которое обходит их стороной, как обходит путник муравейник на тропе. Гнилой Лог был именно таким местом.

Стоял он в низине, зажатой между тремя пологими холмами, поросшими старым, ещё дедовским лесом. С какой стороны ни подъезжай — с большака ли, что вёл от уездного города, с просёлка ли, петлявшего через покосы, — дорога неизменно ныряла вниз, в котловину, и путник вдруг оказывался будто на дне глубокой чаши, над которой, даже в самый ясный июльский полдень, висела тонкая дымка тумана. Она не рассеивалась, как обычный утренний туман над рекой, а держалась весь день, лишь немного редая к вечеру, чтобы вновь загустеть к ночи.

Река, что текла через деревню, называлась Тихой — и название своё оправдывала сполна. Вода в ней двигалась так медленно, что временами казалось, будто река не течёт вовсе, а просто лежит в своём русле, как уставшее животное, лишь изредка вздрагивая рябью, когда рыба хватала мошку

у поверхности. Старики говорили, что раньше, при их дедах, Тихая была куда бойчее, а обмелела и заленилась она с тех самых пор, как в деревне случилась Большая Беда — событие, о котором в открытую почти не говорили, а если и упоминали, то шёпотом, оглядываясь на печь, будто она могла подслушать.

Историй о том, откуда взялось на Гнилом Логу проклятие — а в том, что оно есть, не сомневался никто, от мала до велика, — ходило множество, и каждая версия обрастала своими подробностями в устах очередного рассказчика.

Одни утверждали, что всё пошло от старого барина Апраксина, владевшего этими землями ещё при крепостном праве. Будто была у него в услужении девка, красивая да гордая, не желавшая делить с барином постель по доброй воле, и барин, осерчав, обвинил её в порче своего любимого жеребца, который вдруг захромал и издох без видимой причины. Девку били кнутом на конюшне, а после повесили на старой берёзе у околицы — той самой, что до сих пор стоит, чёрная и сухая, хотя все соседние деревья давно зазеленели новой листвой. Перед смертью девка будто бы

прокляла и барина, и всю деревню, пообещав, что земля здесь никогда не будет знать покоя.

Другие качали головами и говорили, что дело не в барине и не в девке, а в самой земле — что Гнилой Лог стоит на пустотах, на старых норах и провалах, оставшихся ещё с той

поры, когда тут жили совсем иные народы, поклонявшиеся не Христу и не Перуну даже, а чему-то более древнему и голлодному, чему люди давно забыли имя, а если бы и вспомнили — не решились бы произнести вслух.

Третьи, самые старые и самые молчаливые, вроде повитухи Марфы, просто поджимали губы и говорили: — Всякой беде своё время. Наше ещё не пришло. Но придёт.

Они как в воду глядели.

Эта история началась глубокой осенью, в год, когда рожь уродилась хуже обычного, а первые заморозки ударили на две недели раньше положенного, будто сама природа торопилась освободить место для чего-то иного. Началась она в то самое утро, когда над трубой давно пустовавшей избы Свиридовых — семьи, вымершей от мора три года тому назад и с тех пор считавшейся домом нечистым, куда лучше было не соваться, — впервые за долгое время показался дым.

Дарья Кузьминична проснулась в то утро раньше обычного — сама не зная почему, будто кто-то тронул её за плечо и тут же убрал руку. Тимофей, муж её, спал ещё крепко, разметавшись на своей половине полатей, и Дарья, стараясь не разбудить его скрипом половиц, вышла во двор проверить скотину.

Утро выдалось студёное, с той особой ясностью, что бывает только в конце сентября, когда воздух будто становится тоньше и через него видно дальше обычного. Дарья, кутаясь

в накинутый на плечи платок, привычно оглядела двор — куры, слава богу, все на месте, корова Зорька мирно жуёт свою жвачку, — и вдруг взгляд её сам собой метнулся в сторону края деревни, туда, где за покосившимся плетнём давно стояла пустая изба Свиридовых.

Над трубой этой избы курился дымок.

Дарья замерла, не веря собственным глазам. Три года эта изба стояла заброшенной

— с тех пор, как в одну страшную зиму мор унёс сразу всю семью, от старика-деда до грудного младенца, и деревенские, похоронив последнего Свиридова, единодушно решили: в этот дом больше никто не сунется. Даже мальчишки, самые отчаянные озорники, обходили эту усадьбу стороной, а бабы, проходя мимо по своим делам, крестились украдкой.

И вот теперь из трубы шёл дым — обычный, ничем не примечательный дым от растопленной печи, будто в доме никогда и не переставала теплиться жизнь.

Дарья, забыв про недоеную Зорьку, набросила поверх платка старую душегрейку и почти бегом кинулась через огороды к соседке своей, Аксинье — поделиться удивительной новостью. Не прошло и получаса, как весть о дыме над трубой Свиридовской избы облетела всю деревню, обрстая по пути самыми разными догадками: одни говорили, что вернулся кто-то из дальней родни покойных хозяев и решил

забрать себе пустующий дом; другие пугливо шептались, что это, может статься, вернулся кто-то из самих Свиридовых — не совсем живой, не совсем мёртвый; третьи, самые практичные, рассудили просто: должно быть, забрёл в деревню какой бродяга или погорелец и, найдя пустую избу, решил в ней перезимовать.

Дарья, будучи от природы любопытной и не робкого десятка, решила, что нечего гадать попусту, а нужно сходить и посмотреть своими глазами. Мужу своему, Тимофею, вернувшемуся к тому времени с гумна, где он с утра занимался обмолотом ржи, она сказала об этом уже собравшись, накинув на плечи лучший свой полушалок.

Куда собралась? — нахмурился Тимофей, немолодой уже мужик с обветренным, будто дублёным лицом, но неизменно заботливый, когда дело касалось жены.

К Свиридовым схожу, погляжу, кто там поселился.

Одна не ходи. Мало ли кто там.

Да что мне сделается, — отмахнулась Дарья. — Средь бела дня иду, не ночью.

Тимофей ещё что-то проворчал вслед, но останавливать жену силой не стал — характер у Дарьи был твёрдый, и переубеждать её, когда она что-то для себя решила, было делом почти безнадежным.

Дорога до края деревни заняла у Дарьи не больше десяти минут, но с каждым шагом, приближавшим её к покосившемуся плетню Свиридовской усадьбы, на душе у неё становилось всё тревожнее — хотя причины этой тревоги она бы объяснить не сумела. Изба выглядела так же, как и всегда: покосившаяся крыша, тёмные от времени брёвна, маленькие подслеповатые оконца. Только дым над трубой да свежая, недавно протоптанная тропинка от калитки к крыльцу говорили о том, что дом больше не пустует.

Дарья, поколебавшись мгновение, толкнула калитку — та отворилась легко, без обычного для старых заброшенных построек скрипа несмазанных петель, — и пошла по тропинке к крыльцу.

Дверь отворилась прежде, чем Дарья успела постучать.

На пороге стояла женщина, которую Дарья видела впервые в жизни, — и хотя ничего

откровенно пугающего в её облике не было, что-то заставило Дарью на мгновение замереть на месте, будто наткнувшись на невидимую преграду. Женщина стояла очень прямо, почти неестественно прямо для человека, только что вставшего от печи, и смотрела на непрошеную гостью светлыми, почти прозрачными глазами — такими светлыми, что казались они то ли серыми, то ли вовсе бесцветными, в зависимости от того, как падал на них свет. Тёмные волосы её были собраны в тугой узел на затылке, а простое серое платье, хоть

и старенькое, было чистым и опрятным, без единой заплаты. На груди, на кожаном шнурке, висел небольшой холщовый мешочек — Дарья заметила его мельком, но тогда ещё не придавала этому значения.

Не ждала гостей, — сказала женщина ровным, спокойным голосом, в котором не было ни неприязни, ни особого радушия — только констатация факта. — Ты, чай, соседка?

Дарья я, Кузьминична. — Дарья вдруг смутилась, будто это она была незваной гостьей в чужом доме, а не наоборот. — А вы кто ж такая будете? Изба-то эта пустая стояла, хозеява померли...

Знаю, — коротко ответила женщина. — Меня Аграфеной зовут. Буду здесь жить, коли деревня не против.

А откуда сама-то будешь, Аграфена?

Издалека, — последовал уклончивый ответ, и в светлых глазах женщины на миг мелькнуло нечто, что Дарья затруднилась бы описать словами — не угроза, не предупреждение, а скорее лёгкое, почти незаметное предостережение: не стоит углубляться в этот вопрос. — Что стоишь на пороге? Заходи, коли пришла. Чаю налью, разговором душу согрею — я гостям всегда рада, когда с добром приходят.

Дарья, сама не заметив как, оказалась внутри избы, усаженная за грубо сколоченный стол у печи. Убранство дома изменилось со времён Свиридовых — исчезли иконы в красном углу, зато появились какие-то пучки сушёных трав, раз-

вешанные по стенам, да глиняные горшочки на полках, назначение которых Дарье было неведомо. Пахло в избе странно — не той привычной смесью дыма, хлеба и скотного двора, что царит в каждой крестьянской избе, а чем-то более сложным, немного горьковатым, немного сладковатым, с едва уловимой ноткой то ли палёных перьев, то ли чего-то ещё, чему Дарья не могла подобрать названия.

Аграфена налила ей в глиняную кружку тёмный, почти чёрный отвар, пахнувший незнакомыми травами, и Дарья, из вежливости отхлебнув, ощутила на языке горьковатый, но не неприятный вкус — что-то вроде смеси мяты, полыни и ещё чего-то, чему не было названия в её крестьянском обиходе.

Хорош чаёк, — похвалила Дарья, хотя, по правде, вкус показался ей странным,

почти чужим.

Травы у меня особые, — с лёгкой улыбкой, впервые за весь разговор, ответила Аграфена. — Дар с собой ношу, куда бы ни шла.

Дальнейшего разговора Дарья вспомнить впоследствии почти не могла — как ни силилась потом восстановить в памяти, о чём именно они говорили с новой соседкой. В памяти остались только разрозненные обрывки: тепло от печи, разливающееся по телу приятной истомой; вкус горь-

коватого отвара; и странное, тревожащее ощущение, будто её, Дарью, кто-то очень внимательно и очень бесцеремонно разглядывает изнутри, перебирая её мысли и воспоминания, словно хозяйка, что перебирает зерно на решете, отделяя годное от негодного, крепкое от гнилого.

Самой Дарье казалось, что просидела она у Аграфены от силы час — не больше того времени, что нужно, чтобы неспешно выпить кружку чая да перекинуться парой фраз о деревенских делах. Она даже не заметила, как за окном избы менялся свет — как утренние лучи сменились полуденными, а после начали клониться к закату, окрашивая горницу в тревожные красноватые тона. Время будто утекало сквозь пальцы, не оставляя следа в памяти, как вода утекает сквозь решето, и Дарья, погружённая в странную, вязкую истому, не чувствовала его хода вовсе.

Ещё запомнился Дарье момент, когда Аграфена, слушая её рассказ о муже, о нехитром деревенском быте, вдруг спросила, будто невзначай:

А деток у вас с мужем много ли?

Не бог весть сколько, — вздохнула Дарья, у которой давняя эта рана до сих пор саднила при упоминании. — Первенца схоронили, не дожил и до году. С тех пор бог больше не дал.

Жаль, — коротко сказала Аграфена, и в голосе её послышалось что-то, отдалённо похожее на искреннее сочувствие

— хотя тут же, впрочем, пропало, будто задёрнутое занавеской. — Такое горе на всю жизнь метку ставит.

Домой Дарья вернулась уже в сумерках, хотя выходила из дома засветло, а корова Зорька, недоеная целый день, встретила её жалобным мычанием. Тимофей, обеспокоенный долгим отсутствием жены, встретил её у калитки с фонарём в руках и первым делом накинулся с упрёками:

Где тебя носило столько времени? Я уж думал, случилось чего!

Да у соседки новой засиделась, — как-то вяло, без обычной своей живости, ответила Дарья. — Заговорились.

Что за соседка ещё?

Аграфена звать. В избе Свиридовской поселилась.

Тимофей нахмурился было, желая расспросить подробнее — не понравилось ему, что жена, всегда осторожная и рассудительная, вдруг просидела невесть у кого в доме от утра до самого вечера, сама того толком не заметив, — но, взглянув на измождённое, будто разом осунувшееся лицо Дарьи, решил отложить разговор до утра.

В ту ночь Тимофею не спалось. Он лежал, прислушиваясь к дыханию жены, спавшей рядом непривычно беспокойным сном, то и дело вздрагивая и что-то бормоча. Ближе к полуночи бормотание стало отчётливее, и Тимофей, приподняв-

шись на локте, с холодком в груди различил в шёпоте жены слова на языке, которого он никогда прежде от неё не слышал — не то чтобы совсем чужом, а каком-то вывернутом, шелестящем, будто она разговаривала не сама с собой, а с кем-то, кто отвечал ей беззвучно, прямо в голову.

Даша, — тихонько позвал он, тронув жену за плечо. — Даша, проснись, тебе дурной сон снится.

Дарья не проснулась, только с шумом втянула воздух через нос, будто вынырнула из-под воды, и продолжала спать — теперь уже спокойнее, без бормотания. Тимофей ещё долго лежал без сна, вглядываясь в темноту избы и убеждая себя, что просто устал за день и мерещится ему всякое от усталости.

К утру у Дарьи начался жар.

Жар этот не был похож на обычную простуду. Дарья металась в постели, обливаясь потом, а в редкие минуты прояснения жаловалась мужу, что внутри у неё будто что-то ворочается, тяжёлое и холодное, как камень, брошенный в тёплую воду. Тимофей, не на шутку перепугавшись, послал соседского мальчонку в ближайшее село за фельдшером — путь неблизкий, вёрст пятнадцать, но иного выхода не было: своего лекаря в Гнилом Логу отродясь не водилось, обходились бабками-знахарками да собственным опытом.

Фельдшер, немолодой уже человек по фамилии Осокин, прибыл только к вечеру следующего дня, усталый с дороги

и не расположенный к долгим разговорам.

Осмотрев Дарью, послушав её дыхание через трубочку, пощупав лоб и запястья, он лишь озадаченно покачал головой.

Жар есть, а причины не вижу, — признался он Тимофею откровенно, пока тот провожал его до телеги. — Ни горлом не мается, ни животом, ни грудью не кашляет. Просто жар, будто изнутри печёт, и всё тут. Дай ей отвар из ивовой коры, пусть больше пьёт, а к завтраму, коли не полегчает, шлите за мной снова — хотя, по правде сказать, не знаю уже, чем и помочь.

Тимофей заплатил фельдшеру, чем смог — десятком яиц да куском сала, — и вернулся

в избу с тяжёлым сердцем. Дарья лежала теперь тихо, без прежнего метания, но лицо её казалось странно осунувшимся, а глаза, когда она их открывала, смотрели на мужа будто издалека, будто сквозь толщу воды.

К утру следующего дня жар и вправду немного спал, но случилось иное несчастье: выйдя во двор покормить кур, Тимофей обнаружил всех до единой мёртвыми — лежали они в курятнике вповалку, без каких-либо видимых ран или следов болезни, будто их всех разом придушила невидимая рука. Пятнадцать кур да петух — всё хозяйство, что заводили с таким трудом ещё по весне, — пропало в одну ночь.

Тимофей, человек не робкого десятка, повидавший на

своём веку всякое — и голодные годы, и болезни, косившие скотину, — на этот раз почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имевший отношения к утренней прохладе. Он долго стоял над мёртвыми курами, пытаясь найти хоть какое-то разумное объяснение — лиса ли забралась, хорь ли, — но ни одна из птиц не была тронута зубами, не было и следов крови. Куры просто умерли, все разом, в одну ночь, и единственным необычным событием, случившимся в доме за это время, была болезнь жены, начавшаяся сразу после её визита к новой соседке.

Тимофей эту мысль отогнал от себя как несуразную — мало ли что могло случиться с курами, а связывать это с безобидной с виду женщиной, поселившейся в пустовавшем доме, было бы просто глупостью, достойной суеверных баб, а не рассудительного мужика. Он закопал павшую птицу подальше от дома, как полагалось по обычаю, и решил про себя никому пока об этом не рассказывать, чтобы не плодить лишних пересудов.

Но шила в мешке не утаишь. О странной хвори Дарьи Кузьминичны и о разом передохших курах в её дворе судачила уже вся деревня, и молва, как это водится, быстро связала два этих события с третьим — с появлением новой жилицы в доме Свиридовых.

ГЛАВА 2

Первой открыто заговорила об этом Марфа — старая по-

витуха, принявшая на своём веку роды у доброй половины деревенских баб и не понаслышке знакомая со всякими хвоями, порчами и заговорами, что ходили среди простого люда.

Не к добру это, что новая баба в деревне объявилась, — сказала она как-то отцу Николаю, единственному священнику на три окрестные деревни, встретив его после воскресной службы. — Погляди-ка на Дарью — не оправилась ведь до конца, хоть жар и спал. Ходит как неживая, будто из неё что-то важное выкачали.

Отец Николай, человек хоть и не старый ещё, но уже успевший за годы служения на этом приходе повидать немало деревенских суеверий и предрассудков, только отмахнулся от старухиных слов, как от назойливой мухи.

Полно тебе, Марфа Игнатьевна, страсти нагонять. Мало ли отчего Дарья хворала — может, простыла, может, что съела не то. А куры — так это, может, зверь какой полевой пробрался, лиса или куница.

Куница кур не давит зазря, сожрёт хоть одну, а прочих переполошит так, что визг на всю деревню слышен будет, — возразила Марфа с той упрямой уверенностью, что приходит только с годами прожитой жизни. — А тут — все разом, тихо, без следа крови. Так только нечистая сила душит, бабюшка, а не зверь лесной.

Отец Николай, впрочем, продолжал считать эти разгово-

ры пустыми бабьими страхами — время было и без того тяжёлое, урожай в тот год выдался скудным из-за ранних заморозков, и меньше всего священнику хотелось, чтобы деревню охватила паника из-за суеверных сплетен. Но Марфа, наделённая не только годами, но и немалой долей упрямства, решила разобраться в деле сама, не дожидаясь, пока батюшка сподобится принять её всерьёз.

Марфа отправилась к избе Аграфены спустя неделю после её появления в деревне, прихватив с собой в качестве предлога застарелую боль в пояснице, что мучила старую повитуху уже не первый год. Предлог этот был не совсем выдуманным — поясница у Марфы и вправду ныла на погоду, — но истинная цель визита была иной: старуха хотела своими глазами увидеть новую соседку и составить о ней собственное суждение, не полагаясь на пересуды деревенских кумушек.

Аграфена встретила незваную гостью со всем возможным радушием — усадила за стол, напоила отваром, а после, узнав о жалобе на поясницу, предложила размять больное место, на что Марфа, поколебавшись, согласилась.

Руки у Аграфены оказались на удивление сильными для женщины её сложения, а главное — холодными, неестественно холодными, будто она только что вынула их из ледяной воды, хотя в избе было натоплено жарко. Марфа, лёжа животом на лавке, пока чужие пальцы разминали ей поясницу, украдкой рассматривала убранство комнаты: пучки трав на стенах, глиняные горшочки на полках, странный, чуть

горьковатый запах, витавший в воздухе. У печи, как заметила старуха, стояла плошка с молоком — не для кошки, у Аграфены её не водилось, а будто бы для какого-то иного, невидимого постояльца.

Хвораете чем, Марфа Игнатьевна? — спросила Аграфена, продолжая свою работу.

Кроме поясницы-то?

Годы своё берут, — уклончиво ответила старуха, не желая делиться подробностями

своего здоровья с малознакомой женщиной. — А ты давно ли лечбой промышляешь?

Сколько себя помню, — последовал уклончивый ответ. — Мать научила, а её — бабка.

А сама-то откуда родом, если не секрет?

Аграфена на мгновение прервала свою работу, и Марфа почувствовала, как холодные пальцы на её спине на секунду напряглись.

Издалека, — повторила Аграфена тот же ответ, что давала уже не раз всем любопытствующим. — Места менять привыкла. Такая уж моя доля.

Разговор на этом иссяк, и Марфа, поблагодарив за помощь пояснице — боль и вправду немного отступила, на-

до признать, — начала прощаться. У самых дверей, однако, произошло то, ради чего, если бы старуха призналась себе честно, она, собственно, и приходила: собираясь накинуть на плечи шаль, Марфа будто бы невзначай зацепила рукавом висевший на груди у Аграфены холщовый мешочек, и тот на мгновение приоткрылся.

То, что старая повитуха увидела в приоткрывшемся мешочке за те несколько мгновений, что понадобились Аграфене, чтобы поправить и снова затянуть шнурок, врезалось в её память навсегда: спутанные пряди волос самых разных цветов — русые, чёрные, тронутые сединой, и среди них — тонкие светлые кудряшки, явно принадлежавшие ребёнку. А ещё — маленькие сухие косточки, слишком тонкие и хрупкие, чтобы принадлежать какому-либо крупному животному; скорее уж птичьи, а может статься, и что похуже.

Марфа не произнесла ни слова. Она молча поклонилась хозяйке, вышла за порог и, дойдя до края деревни, где начинался лес, побежала — насколько позволяли ей старые, натруженные годами ноги.

В ту ночь Марфа долго не могла уснуть, ворочаясь на своей лежанке и то и дело поглядывая на лампаду в красном углу, чей неровный огонёк почему-то казался ей особенно тревожным в эту ночь. Ближе к полуночи, когда старуха всё же начала задрёмывать, лампада вдруг погасла — сама собой, без сквозняка, без всякой видимой причины.

Марфа мгновенно очнулась ото сна с тем особым, звери-

ным чутьём на опасность, что порой сохраняется у людей, проживших долгую и трудную жизнь. В избе стояла крошечная тьма, но старуха отчётливо ощущала: она не одна. У печи, там, где обычно не бывало ничего, кроме ухватов да кочёрги, чернел неясный силуэт — слишком высокий для человека, с руками, свисающими значительно ниже колен, будто вылепленный не по человеческим меркам, а по каким-то иным, чуждым пропорциям.

Марфа хотела закричать, хотела прочесть молитву — но голос отказал ей, будто чья-то невидимая рука сжала горло изнутри. Силуэт у печи не двигался, но Марфа явственно ощущала на себе его взгляд — хотя лица у тени, казалось, не было вовсе, только чернота более глубокая, чем окружающий мрак.

Что случилось дальше, Марфа впоследствии рассказать уже никому не смогла.

Наутро её нашла соседская девчонка, прибежавшая по обыкновению за утренним наставлением — Марфа частенько присматривала за ней, пока родители были заняты в поле. Старая повитуха лежала на полу возле своей лежанки, с застывшим на лице выражением, в котором смешались испуг и странное, почти умиротворённое облегчение. Прибежавший фельдшер, вызванный на этот раз слишком поздно, констатировал остановку сердца — дело, по его словам, вполне

обычное для женщины столь преклонных лет.

Деревня погоревала о смерти старой повитухи три положенных дня, справила поминки и вскоре забыла о случившемся — как забывают обычно о старых людях, чей уход воспринимается как естественный ход вещей, а не как повод для тревоги.

Лишь отец Николай, навещавший умирающую в её последние часы жизни — Марфа, как оказалось, ещё успела прожить остаток ночи в полубеспамятстве, прежде чем сердце её остановилось окончательно, — запомнил слова, которые старуха прошептала ему, цепляясь высохшей рукой за его рукав:

Она собирает нас, батюшка... по кусочку... волосы, ногти, дыхание перед смертью... всё ей нужно... для чего-то большего... не дай ей забрать всю деревню...

Отец Николай тогда списал эти слова на предсмертный бред, вполне обычный для умирающего сознания. Но по прошествии времени, когда деревню одно за другим начали посещать несчастья, он всё чаще вспоминал последнее предупреждение старой повитухи — и всё острее жалел о том, что не придал ему должного значения, пока ещё было не слишком поздно что-либо изменить.

ГЛАВА 3

Страшнее всего было то, что дети её не боялись.

Мельник Фрол Онисимович был человеком крепким, немногословным и по-своему справедливым — таким, каким и полагается быть хозяину единственной на всю округу мельницы, от исправной работы которой зависело благополучие доброй половины деревенских дворов. Жена его, Аксинья — та самая, к которой в первый день прибегала Дарья с новостью о дыме над трубой, — родила ему за годы супружества

троих детей, но в живых осталась одна лишь Улита, младшая, смуглая быстроглазая девчонка семи лет от роду, любимица всей семьи и немалая гордость самого Фрола, привыкшего в ней души не чаять.

Улита была ребёнком живым, любопытным и совершенно бесстрашным — качество, которое в иные времена радовало родителей, а в иные заставляло сидеть раньше срока. Она облазила все окрестные овраги, знала наперечёт все ягодные места в лесу и не боялась ни собак, ни быков, ни грозы, чем немало отличалась от прочих деревенских детей, обычно куда более пугливых и осторожных.

Когда в деревне поселилась Аграфена, Улита оказалась едва ли не первой, кто свёл с ней близкое знакомство — задолго до того, как об этом узнали родители. Девчонка, привыкшая бегать без спросу по всей округе, наткнулась на новую соседку в лесу, куда та ходила по каким-то своим надобностям, собирая травы да коренья, и с детской непосред-

ственностью тут же завела разговор, ничуть не смущаясь незнакомством.

Аграфена, по всей видимости, нашла в бойкой девчонке нечто занимательное для себя, потому что вместо того, чтобы отослать ребёнка домой, как поступило бы большинство взрослых, она разговорилась с Улитой, показала ей несколько трав, объяснила, какая от чего помогает, и вообще проявила к маленькой собеседнице внимание, какого редко удостоивались от взрослых деревенские дети, обычно занятые тяжёлой работой и не склонные к долгим разговорам с малышней.

С того дня Улита повадилась бегать к Аграфене чуть ли не каждый день, улучая для этого любую свободную минуту. Мать поначалу ругала её за самовольные отлучки, отец грозился ремнём — но девочка, при всей своей детской покладистости в прочих вопросах, здесь проявляла упрямство, какого за ней прежде не водилось, и убегала снова и снова, едва взрослые отворачивались.

Возвращалась Улита из этих визитов какой-то притихшей, не похожей на саму себя — прежде звонкий и шумный ребёнок теперь мог часами сидеть молча, глядя в одну точку с выражением, которое трудно было назвать иначе, чем взрослой задумчивостью, неуместной на детском личике. На расспросы матери, о чём они говорят с новой соседкой, Улита отвечала уклончиво, но однажды, разоткровенничавшись перед сном, рассказала Аксинье о некой “тё-

те с холодными руками”, которая поёт ей песни на языке, которого сама Улита не понимает, но почему-то запоминает наизусть, стоит только проснуться.

Какие песни-то, доченька? — спросила тогда встревоженная Аксинья, укладывая дочь спать.

Улита, зевая, пробормотала несколько слов на языке, которого её мать никогда прежде не слышала — не похожем ни на один из известных Аксинье наречий,

состоящем из шелестящих, присвистывающих звуков, от которых у матери отчего-то похолодела спина.

Про что песня-то?

Про то, как земля голодная, — сонно ответила девочка, уже проваливаясь в сон. — И как её кормить нужно, чтобы она снова уснула...

Аксинья в ту ночь не сомкнула глаз, просидев у постели дочери до самого рассвета, но наутро, когда Улита проснулась обычной весёлой и голодной девчонкой, требующей завтрака, тревога матери немного улеглась — списала она услышанное ночью на детскую фантазию, начитавшуюся, а вернее, наслушавшуюся деревенских сказок про леших да кикимор.

Развязка наступила спустя несколько дней, в ночь, которую вся деревня Гнилой Лог запомнила надолго.

Аксинья, как обычно, уложила дочь спать пораньше —

назавтра предстоял базарный день, и хлопот по хозяйству было невпроворот. Но глубокой ночью, поднявшись проверить, крепко ли спит девочка, мать с ужасом обнаружила, что постель Улиты пуста, а маленькое окошко, через которое обычно в комнату проникал лишь скудный лунный свет, приоткрыто настежь, хотя закрывали его на ночь всегда плотно.

Крик Аксины поднял на ноги не только мужа, но и половину деревни. Фрол Онисимович, бледный как полотно, организовал поиски с тем же деловитым напором, с каким привык управляться со своей мельницей — разбудил соседей, раздобыл фонари, кликнул собак. К поискам присоединились едва ли не все взрослые мужчины деревни, включая Тимофея, всё ещё не оправившегося от собственных семейных тревог, и кузнеца Игната, могучего детину, чьей физической силе всегда можно было довериться в трудную минуту.

Искали до самого утра, прочёсывая окрестные овраги и перелески, выкликая имя пропавшей девочки до хрипоты в голосе. Но самым странным во всей этой ночи оказалось поведение собак — обычно надёжных помощников в подобных поисках, теперь же они наотрез отказывались приближаться к тропинке, ведущей на холм за избой Аграфены. Псы поджимали хвосты, прижимали уши и жалобно скулили, а один из них, самый смелый пёс кузнеца Игната, вдруг завыл долгим, полным первобытного ужаса воем, от которого у всех

присутствующих похолодела кровь в жилах.

Чуют что-то, — пробормотал Игнат, пытаясь силой потащить упирающегося пса дальше по тропинке. — Собаки просто так выть не станут.

Фрол Онисимович, не слушая никаких доводов, рвался идти дальше в одиночку, если понадобится, но отец Николай, тоже присоединившийся к поискам, удержал его за плечо.

Погоди, Фрол Онисимович. Раз собаки боятся — значит, не зря. Пойдём вместе, только осторожно.

Улиту нашли на рассвете, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь неизменный туман, окутывающий деревню. Девочка сидела на старом пне посреди леса — том самом, что стоял неподалёку от подножия холма, — совершенно одна, босая, в одной ночной рубашке, несмотря на предутренний холод, от которого взрослые, искавшие её всю ночь, давно продрогли до костей. И самое странное — девочка вовсе не выглядела замёрзшей или испуганной. Она сидела с безмятежным видом, как ни в чём не бывало сплетая венок из полевых цветов — цветов, которые, как отметил про себя удивлённый отец Николай, давно должны были отцвести по осеннему времени, но здесь, вокруг пня, на котором сидела Улита, зеленела и цвела трава, будто на этом крохотном пятачке царило вечное лето.

Улита! — бросился к дочери Фрол Онисимович, подхва-

тывая её на руки. — Доченька, где ж ты была, как ты тут оказалась?

Девочка, ничуть не удивившись такому бурному проявлению родительских чувств, спокойно смотрела на отца своими тёмными быстрыми глазами, в которых, впрочем, читалось что-то новое, прежде не свойственное её взгляду — какая-то отстранённая задумчивость, неуместная для семилетнего ребёнка.

Тётя приходила, — сообщила она буднично, будто речь шла о самой обычной вещи.

Мы гуляли.

Какая тётя, Улитушка? Аграфена, что ли?

Тётя сказала, я особенная, — не отвечая прямо на вопрос, продолжала девочка тем же ровным, лишённым обычной детской живости голосом. — Тётя сказала, меня выберут.

Выберут для чего, доченька?

Улита на этот вопрос не ответила ничего, только улыбнулась — и в этой улыбке отцу Николаю, стоявшему поодаль и внимательно наблюдавшему за происходящим, почудилось нечто неуловимо чуждое, будто улыбалась не сама девочка, а что-то, глядящее на мир её глазами.

С того дня Улита изменилась, и перемена эта не укрылась

ни от родителей, ни от прочих деревенских жителей. Прежде бесстрашная, но при этом обычная в своих детских реакциях девочка теперь демонстрировала бесстрашие иного, куда более тревожного свойства: она перестала плакать от боли вовсе. Однажды, оступившись на камнях у реки, она разбила колено в кровь настолько сильно, что взрослый мужчина на её месте наверняка бы вскрикнул, — но Улита лишь с любопытством, будто

рассматривая чужую, а не свою собственную рану, поднесла окровавленное колено поближе к глазам, разглядывая струящуюся кровь с почти научным интересом, лишённым каких-либо признаков страха или боли.

Ночами она разговаривала во сне — тем же чужим, низким голосом, каким некогда, в свою страшную ночь болезни, говорила во сне Дарья Кузьминична. Акси́нья, лёжа без сна рядом с постелью дочери, вслушивалась в эти ночные бормотания с ужасом, который не могла облечь в слова, — а произносимые дочерью фразы, обрывки которых удавалось разобрать, были совершенно взрослыми по смыслу, будто говорил не ребёнок, а некто много переживший и много знающий о мире вещей, недоступных детскому пониманию.

Отец Николай, узнав о происшедшем во всех подробностях от убитых горем родителей Улиты, впервые за всё время своего служения на этом приходе почувствовал, что дело, с которым он столкнулся, выходит далеко за рамки обычных

деревенских суеверий, с которыми ему до сих пор доводилось иметь дело. Слова умирающей Марфы — “она собирает нас, батюшка, по кусочку” — теперь звучали в его памяти с новой, куда более зловещей отчётливостью.

Он понял, что пришло время не просто присматриваться и выжидать, но действовать

сбирать вокруг себя тех немногих в деревне, кому можно было довериться, и искать способ противостоять угрозе, истинный масштаб которой был ему пока не до конца ясен, но которая, без всякого сомнения, была реальна и с каждым днём становилась всё серьёзнее.

Но как это часто случается в подобных историях, решение созрело у отца Николая с некоторым опозданием. Аграфена, поселившаяся в Гнилом Логу отнюдь не случайно, прекрасно знала, что рано или поздно за ней придут — она видела это в глазах деревенских жителей, чувствовала растущую настороженность, витающую в воздухе. Именно поэтому все эти месяцы она действовала методично и без лишней спешки, стараясь собрать как можно больше — волос, ногтей, детского смеха и предсмертного дыхания стариков — прежде чем деревня соберётся с духом дать ей отпор.

Потому что, как хорошо знала сама Аграфена, самая трудная часть предстоящей работы была ещё впереди.

ГЛАВА 4

Церковная сторожка, притулившаяся у самой ограды де-

ревенского погоста, редко видела столько народу разом, сколько собралось в ней тем вечером. Отец Николай,

разослав накануне через верных людей негласное приглашение, тщательно выбирал, кого звать на этот разговор — ему нужны были не паникёры и не пустые болтуны, а люди рассудительные, крепкие духом и, что немаловажно, ещё не тронутые той странной пустотой во взгляде, что он начинал замечать у некоторых деревенских жителей, слишком часто наведывавшихся за помощью к новой знахарке.

Пришёл Фрол Онисимович, мельник, у которого теперь были все основания для тревоги после случившегося с дочерью. Пришёл Тимофей, чья жена Дарья хоть и оправилась от первоначального жара, но так и не стала прежней — исхудала, замкнулась в себе, целыми днями просиживала у окна, глядя куда-то в сторону холма невидящим взглядом, будто ждала оттуда какого-то сигнала, понятного лишь ей одной. Пришёл кузнец Игнат — здоровяк сажённого роста, чья сила и бесстрашие вошли в поговорку по всей округе, но даже он, переступая порог сторожки, зачем-то машинально перекрестился дважды, чего за ним прежде не водилось.

Собрались и другие — всего восемь человек, каждый из которых так или иначе успел столкнуться с чередой странных несчастий, обрушившихся на деревню за последние месяцы. Отец Николай, дождавшись, пока все рассядутся на грубых лавках вдоль стен тесной сторожки, начал разговор

без долгих предисловий.

Собрал я вас, мужики, по делу серьёзному, — начал он, оглядывая присутствующих усталым, но твёрдым взглядом. — Многие из вас уже поняли, о чём пойдёт речь, хоть вслух пока об этом никто не решался говорить. Речь о новой соседке нашей, об Аграфене.

По сторожке пробежал глухой ропот — видно было, что тема эта давно уже витала в воздухе, обсуждаемая по углам да за закрытыми дверями, но впервые прозвучавшая вслух, да ещё из уст самого священника, произвела впечатление немалое.

Ты, батюшка, что же, всерьёз веришь бабьим рассказням про ведьму? — с некоторым вызовом спросил мельник Фрол, хотя по голосу его чувствовалось, что вопрос этот он задаёт не столько из недоверия, сколько из желания услышать подтверждение собственным подозрениям от человека духовного звания.

Верю, Фрол Онисимович, и веры у меня для того более чем достаточно, — ответил отец Николай. — Марфа Игнатьевна, царствие ей небесное, перед смертью успела мне кое-что рассказать, да и своими глазами кое-что видела в доме новой соседки — то, о чём говорить особо не хотела, но намекала достаточно ясно. А после того, что случилось с твоей дочкой, Фрол Онисимович, да с женой Тимофея, сомневаться уже не приходится.

Так что ж делать-то предлагаешь, батюшка? — подал го-

лос Тимофей, чьё лицо за последние недели заметно осунулось от постоянной тревоги за жену.

Надо её выгнать! — не выдержав, стукнул кулаком по столу мельник. — Собраться всей деревней, дом спалить, а её саму — куда шла, туда пусть и убирается, покуда цела!

Не так всё просто, боюсь, — покачал головой отец Николай. — Марфа Игнатьевна прожила на этом свете восемьдесят с лишним лет, много чего повидала на своём веку, много знала такого, о чём мы с вами и не подозреваем. Она мне прямо сказала перед смертью: Аграфена — не простая ведьма из сказок, что на метле летает да порчу на скотину наводит. Она душу человеческую по кусочкам собирает. А душу, мужики, голыми руками да вилами не возьмёшь, тут иной подход нужен.

В сторожке повисла тяжёлая тишина. Игнат, до того молчаливо сидевший в углу, первым нарушил молчание своим низким, гулким голосом:

Так что делать-то, батюшка? Коли просто спалить да прогнать — не выйдет?

Для начала — выследить её, узнать наверняка, чем она занимается и где прячет то, что забрала у наших родных. А уж после решать будем, как это всё обратно отвоёвывать.

Отец Николай, поднявшись, извлёк из-под полы своей рясы старую книгу в потёртом кожаном переплёте — требник,

который достался ему в наследство от прежнего настоятеля прихода, а тому, если верить давним слухам, от священника ещё более раннего, служившего здесь во времена, когда деревней управляли крепостники.

Осторожно раскрыв книгу на нужном месте, отец Николай показал присутствующим несколько страниц, вклеенных отдельно, исписанных неровным, торопливым почерком, разительно отличавшимся от каллиграфического письма основного текста.

Тут писано разное, — принялся читать отец Николай, водя пальцем по строчкам, — что нечисть такого рода, что зовётся “собираательницей”, боится соли, коли рассыпать её кругом в ночь новолуния. Боится железа кованого. Боится имени, что было дано человеку при крещении, ежели произнести его громко прямо в лицо твари, лишив тем самым личины. Но самое главное здесь написано — просто убить её будет недостаточно, мужики. Она уже забрала частицы душ у многих из наших — у Дарьи Кузьминичны, у малютки Улиты, да и мало ли у кого ещё, о ком мы пока не знаем.

Ежели её попросту убить, не вернув эти забранные частицы обратно, наши родные так пустыми оболочками и останутся до конца своих дней.

Тимофей при этих словах побледнел ещё сильнее, судорожно сжав кулаки на коленях.

Так что же нам делать, батюшка, коли просто убить нель-

зя?

Выследить сперва, — повторил отец Николай. — Узнать наверняка, где она хранит то, что забрала, каким именно колдовством пользуется. Без этого знания мы будем действовать вслепую, а вслепую против такой силы идти — дело гиблое.

Мужики, посоветовавшись, порешили, что выслеживать новую соседку вызовется Игнат

не столько из-за его богатырской силы, хотя и она могла пригодиться в случае нужды, сколько потому что из всех присутствующих именно его семьи странные несчастья пока что обошли стороной, а значит, ему было не так боязно приближаться к дому подозреваемой ведьмы, как прочим, чьи родные уже успели пострадать.

Кузнец Игнат, при всей своей могучей стати, не был человеком, склонным к пустой удали или показному героизму — работа у наковальни давно приучила его к рассудительности и осторожности, без которых легко можно было лишиться пальца или того хуже под тяжёлым молотом. Взявшись выследить Аграфену, он подошёл к делу со всей тщательностью, на какую был способен: разведал местность вокруг Свиридовской избы ещё засветло, выбрал подходящее укрытие в густых зарослях орешника напротив окон дома, откуда открывался хороший обзор на крыльцо и тропинку, веду-

щую к холму, и запасся тёплым тулупом да краюхой хлеба, готовясь к долгому ночному бдению.

Первые две ночи прошли без каких-либо примечательных событий, если не считать того, что сами по себе эти ночи оказались для Игната серьёзным испытанием на выдержку. Сидеть неподвижно в холодных кустах, вслушиваясь в каждый шорох осенней ночи, оказалось делом куда более изматывающим, чем самая тяжёлая работа у наковальни. Окна Свиридовской избы темнели рано, около полуночи из трубы переставал куриться дымок, и всё, что оставалось Игнату — это вслушиваться в тишину, нарушаемую лишь редким уханьем совы да далёким, тоскливым завыванием какого-то ночного зверя со стороны леса.

К концу второй ночи Игнат уже начал сомневаться, не была ли вся эта затея с ночной слежкой напрасной тратой времени — может статься, подумывал он, коченея от холода в своём укрытии, соседка и вправду просто безобидная знахарка, а все страхи деревенских баб — не более чем пустые суеверия, разросшиеся из череды несчастливых совпадений.

Но на третью ночь его сомнения развеялись раз и навсегда.

Ближе к полуночи, когда Игнат, борясь с одолевающей его дремой, уже начал клевать носом, дверь избы вдруг отворилась — без обычного скрипа несмазанных петель, каким полагалось бы сопровождаться открыванию старой, много по-

видавшей на своём веку двери, а совершенно бесшумно, будто петли эти были смазаны свежим воском лишь этим самым вечером. На крыльцо вышла Аграфена.

В свете неполной ущербной луны, пробивавшемся сквозь редеющие к ночи клочья тумана, лицо женщины казалось совершенно бледным, почти лишённым красок, будто высе-ченным из мрамора, а мешочек на её груди, тот самый, что некогда приоткрылся перед взором старой Марфы, теперь отчётливо светился — не ярко, но

достаточно, чтобы Игнат из своего укрытия заметил это неестественное, болезненное сияние, исходившее словно изнутри самой ткани.

Аграфена не пошла по обычной дороге, ведущей через деревню, а свернула напрямик через огород, к узкой тропинке, что вела на вершину холма, возвышавшегося сразу за её домом — того самого холма, у подножия которого несколько недель назад нашли пропавшую Улиту. Игнат, стараясь ступать как можно тише, стараясь не хрустнуть ни единой веткой под ногами, что при его богатырском весе было делом непростым, двинулся следом, держась на почтительном расстоянии.

Подъём по узкой тропе дался Игнату нелегко в кромешной темноте, но добравшись наконец до вершины холма, он замер, поражённый увиденным. То, что издалека, при свете дня, можно было принять за обычное скопление старых,

поросших мхом валунов, при ближайшем рассмотрении, да ещё и в призрачном свете луны, оказалось чем-то куда более зловещим — камни эти были расположены не хаотично, а образовывали правильный полукруг, слишком ровный, чтобы быть случайностью природы, напоминая нечто вроде древнего языческого капища, сохранившегося здесь с незапамятных времён.

Аграфена остановилась в самом центре этого каменного полукруга, и Игнат, притаившись за толстым стволом старой сосны на почтительном расстоянии, затаил дыхание, наблюдая за происходящим.

Женщина развязала холщовый мешочек, висевший у неё на груди, и высыпала его содержимое на плоский, будто специально отёсанный природой камень, стоявший в самой середине круга: пряди волос вперемешку, тонкие обрезки ногтей, несколько высохших до полупрозрачности птичьих косточек. Затем она заговорила.

Язык, на котором зазвучал её голос, не был ни русским, ни каким-либо иным наречием, знакомым Игнату по долгой жизни в этих краях, где изредка доводилось слышать и польскую, и татарскую речь от заезжих торговцев. Слова эти состояли будто из чистого шелеста листвы, перемежаемого странным присвистом и потрескиванием, похожим на треск сухих веток в костре, — казалось, будто говорит не человек, а сам лес обрёл на краткий миг дар членораздельной речи.

По мере того как Аграфена продолжала свой странный ре-

читатив, камни в кругу начали светиться тем же тускло-болезненным сиянием, что исходило прежде от мешочка на её груди. А затем из земли, из едва заметных прежде трещин между древними валунами, потянулся туман — но не тот обычный, белёсый туман, что каждодневно окутывал деревню, а нечто совершенно иное: тёмный, почти чёрный по цвету, стелющийся низко над самой землёй, подобно дыму от сырых, плохо занявшихся дров.

Туман этот сгущался прямо на глазах у потрясённого Игната, принимая по мере

сгущения всё более отчётливые очертания — и в какой-то момент кузнецу почудилось, будто в клубящейся черноте различимы человеческие лица, десятки лиц самых разных возрастов, беззвучно кричащих в непроглядном мраке, застывшие в вечной, безмолвной муке.

Аграфена протянула вперёд обе руки, и тёмный туман потянулся к ней навстречу, послушно обвиваясь вокруг её запястий подобно приручённым змеям. А затем, к неописуемому ужасу наблюдавшего за этим Игната, женщина глубоко вдохнула этот туман — в самом буквальном, не иносказательном смысле этого слова, широко раскрыв рот, точно принимая некое подношение, — и клубящаяся тьма без остатка исчезла в её груди, будто она в одно мгновение проглотила саму ночную тьму целиком.

Игнат просидел неподвижно за стволом сосны ещё доб-

рых четверть часа после того, как Аграфена, завершив свой зловещий ритуал, спустилась с холма обратно к своей избе, зажимая себе рот широкой мозолистой ладонью, чтобы ненароком не выдать своего присутствия сдавленным вскриком ужаса. Лишь удостоверившись, что дверь Свиридовской избы плотно затворилась за спиной хозяйки, кузнец позволил себе наконец вздохнуть полной грудью — и обнаружил с некоторым удивлением, что дышится ему с необычным трудом, будто всё это время, пока разворачивалось увиденное действо, он и вправду просидел где-то глубоко под водой, а не на свежем ночном воздухе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.